



## **Б. ФИЛИППОВ**

### **Вячеслав Иванов**

(К выходу первого тома Собрания сочинений под редакцией  
Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением и примечаниями  
О. Дешарт. Брюссель, 1971)

У всех нас, по крайней мере, у тех, для кого поэзия и мысль, искусство и любознательность — не только развлечение, не только эстетские побрякушки, каждый автор входит в нашу жизнь крепко связанным с теми моментами нашего земного пути, когда произошли наши наиболее яркие с ним встречи. Не личные — они даны очень немногим! — но встречи читательские. И обстановка, и время этих встреч во многом определяет и наше не надуманное, а непосредственное отношение к автору, и преимущественную любовь к тем его произведениям, которые пришли к нам в наиболее важные для нас моменты нашей жизни.

Сонный степной городок, весь насквозь пропыленный жгучим южным солнцем, весь во фруктовых садах. Сады несколько умеряют голод лета 1921 года. Гражданская война, разруха, холод и голод разрешили столицы, и в глухоманных до того городах, городках и городишках закипела жизнь, невиданная дотопе — и совершенно невозможная после, когда режим окреп окончательно и пропитал все поры советского прозябания. У нас в городке появились философы и поэты, социологи и артисты из столиц. Возник кружок молодежи — студентов и старшеклассников, собиравшийся в громадном, едва-едва освещенном двумя копящими ночниками зале — бывшем магазине готового платья и мануфактуры. Голод даже обостряет наш интерес к запретной немарксистской философии, к полузапретной — во всяком случае, не рекомендуемой никак, — литературе: Достоевскому, символистам. И вот тогда-то попадаетеся нам

тот номер «Художественного слова», в котором были опубликованы — в 1920 году — «Зимние сонеты» Вячеслава Иванова:

Не сиротеет вера без вестей;  
Немолчным дух обетованьем светел,  
И в час ночной, чу, возглашает петел  
Весну, всех весен краше и светлей.

Стихи о зимней стуже, едва одолеваемой печуркой-временкой, и о холоде тех роковых, судьбоносных дней — стихи не только большого художественного накала, не только меднозвучные, с тяжко-звонкой поступью, но и стихи любомудра. Стихи неким старославянским оттенком своего вещания так соответствовали и соответствуют нашему времени, — эти стихи потрясли нас:

Обманчива явлений череда:  
Где морок, где существенность, о Боже?  
И явь и грёза — не одно ль и тоже?  
Ты — бытие; но нет к Тебе следа.

Дотоле я только фыркал, когда шла речь о стихах. Меня влекла карьера философа, и я, через силу преодолевая охоту читать (и даже самому — писать) стихи, аскетически ограничил свое чтение, отгородившись от поэзии толстенными — и скучноватыми порою — увражами немецких мудрецов. И вдруг — стихи воистину *мудреца*. Парящие, невзирая на меднообутую поступь сонета.

А вскоре наш любимец, философ С. А. Ц., не только глубокий мыслитель, но и блестящий лектор, прочитал нам лекцию о Вячеславе Иванове, и мы погрузились в с немалым трудом доктринные «Переписку из двух углов» и «Кормчие звезды».

Прошли годы, затолканные до отказа ученьем и мученьем, работой и арестами, страхами и стихами, и вот я — зэк Ухто-Печорского лагеря НКВД. Мне повезло: во-первых, у меня — «детский срок» — всего-навсего пять лет; во-вторых, сразу попал в лагерные «придурки» — не на общие физические работы (выжить на них дело маловероятное), а в планово-производственную часть одного из отделений лагеря, обширного, как Франция вместе с Голландией и Бельгией... На одной из командировок лагеря томился тогда бывший археолог, он же и геолог, осуж-

денный по делу Академии Наук — Платонова, Тарле и прочих. Работал там низенький коренастый, с вечной трубкой в зубах и иронически наморщенным обветренным лицом, — бывший помощник Литвинова, бывший старый большевик, бывший редактор «Правды», Адольф Григорьевич Гай (Меньшой)<sup>1</sup> — человек большой культуры и стихолоб с угнетающе обширной памятью. Из лагерей он не выходил с конца двадцатых годов: кончился первый срок — и лагерная коллегия *привешивала* ему срок новый... Работал он статистиком, как и типичнейший скандинавский медведь, добродушнейший и чуть неуклюжий, — бывший офицер царского флота, затем — оперный и опереточный певец, В. Я. А-д. И вот в самый разгар ежовщины, свирепствовавшей и в лагере, среди уже осужденных, сидя на плохо оструганных досках двухъярусных нар в проклопленном бараке, после чуть ли не двенадцатичасового рабочего дня, мы дружно воскрешали в памяти стихи любимых поэтов и даже записывали их на тщательно скрывааемых во время шмонов-обысков листочках. И так удалось восстановить — почти без ошибок весь венок сонетов Вячеслава Иванова «Два Града»:

Век прористал свой стадий до границы,  
И вспять рекой, вскипающей до дна,  
К своим верховьям хлынут времена,  
О чем кричат пророческие птицы?<sup>2</sup>

Археолог — мой тезка — вышел из лагеря раньше меня. Гай-Меньшой умер от цинги, помнится, уже в начале тридцать восьмого года, так и не досидев добавленного срока. Мне удалось сохранить записанные на тонких листках стихи — и даже вывезти их из лагеря.

И как же обрадовался, когда — после освобождения из лагеря — опять повстречался с «Двумя Градами» Вячеслава Великолепного! Было это в Новгороде, зимой 1941 года, в то время — города бывших зэков и ссыльных. Сестры Татьяна и Ольга Николаевны Гиппиус, художница («тетя Тата») и скульптор («тетя Ната»), психиатр и литературовед И. М. А.<sup>3</sup>, наконец, старый знакомец, статный седокудрый красавец — Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов, талантливый философ, как и все петербуржане выбравший Новгород как «место постоянного жительства» после тюрьмы и лагеря. У тети Таты нашлись и «Переписка из двух

углов», и «Corardens», а у Сергея Алексеевича — аккуратно им переписанные в клеёнчатую тетрадь «Младенчество» и «Два Града»:

Раствления не довершил Содом:  
Торопит Зверь пришествие Блудницы.  
Восшедшие вослед Отроковицы  
На рамена подъемлют Божий Дом.

Ревнуют строить две любви два града:  
Воздвигла ярость любящих себя  
До ненависти к Богу крепость Ада;  
Селенье мира зиждут Божьи чада,

Самозабвенно Агнца возлюбя.  
Тот умер, в ком ни жара нет, ни хлада<sup>4</sup>.

Да ведь это — лирико-эпическая парафраза Достоевского: «Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»<sup>5</sup>.

...А Аскольдов еще и тогда говорил нам о Вячеславе Иванове, когда — еще до лагеря своего и ссылки — руководил нашим тайным студенческим философским кружком на берегах Невы. Примерно в 1925 году. Не только горел он тогда религиозно-философским любомудрием (гносеологией и обзором философских систем считал, что заниматься несвоевременно: времена если не апокалипсические, то в преддверии их), но и лирико-философскими стихами. И уже тогда твердил ивановские строки:

Молчите... Пятна ль видите распада?  
И хаос муть очей моих смежил?  
И кто в меня святое «Есмь» вложил, —  
Ушел из чешуи иссохшей гада?<sup>6</sup>

Друг Вячеслава Иванова, автор «Мысли и действительно-сти», один из основателей Религиозно-философского общества,

Сергей Алексеевич страстно любил стихи и почти наизусть знал «Младенчество» <...>

Война. Немецкая оккупация. Голодная и холодная зима 1941–42 года. Город разбит, сожжен, разрушен дотла. Немногие погорельцы скучились и прижились на территории уцелевшей чудом пригородной Колмовской психиатрической больницы, поселились в полуподвальных этажах больничных корпусов, в докторских флигельках. Тут поселились и Аскольдов, и крупный эллинист, известный переводчик Платона и поэт-футурист А. Н. Николев (псевдоним) <sup>7</sup>, и его младший брат — поэт и прозаик Александр Котлин (псевдоним) <sup>8</sup>, и сестры Гиппиус, и я, и еще несколько уцелевших... И в тесной комнатке психиатра и литературоведа И. М. А. — при ночнике, у железной печурки — под канонаду и разрывы бомб (ведь линия фронта была по ту сторону Волхова, ну, километрах в пяти-шести, не больше) — философские споры, чтение своих стихов и особенно своего современного венка сонетов. Опять «Два Града»:

Селенье мира зиждут Божьи чада,  
А им самим не нужен прочный кров...

... Их Град — становье: он ни там, ни тут..  
... Гонимых Мать в пещере кроет встречной...

Гадания о будущем раздираемой войной и террором — и советским, и немецким — России. Только что вырвавшиеся из испепеленной души стихи: не только Котлина и Николева, не только мои, но и стихи Аскольдова, — и опять «Два Града»:

О, тайный сев божественной пшеницы  
Меж диких трав! Святой маслины ствол!  
Лазурный кряж, чей снеговой престол —  
Мария! Род Ее — ключи Криницы! (там же).

Еле-еле брызжет свет ночника. То и дело дом, ветхое деревянное строенье, буквально пошатывается от взрывов. Кровля пробита осколками снарядов. Иной раз доносится явственно исступленный вой смертельно напуганных сумасшедших. И тем глубже западают в душу строфы «Зимних Сонетов»:

Худую кровлю треплет ветер, и гулок  
Железа лязг и стон из полутьмы.

Пустырь окрест под пеленой зимы,  
И кладбище сугробов — переулок...  
Бездомных, Боже приюти!  
Нора потребна земнородным, и берлога  
Глубокая...<sup>9</sup>

Да, встречался Вячеслав Иванов не раз на моем — и моих друзей и близких — жизненном пути. Но есть «закруты памяти» — личной и исторической, такие моменты, когда он, Иванов, был особенно близок и необходим. Поэт-мыслитель. Очень национальный — и более чем сверхнациональный: поэт, обремененный тяжелой ношей всемирной культуры мысли и слова, мыслеобраза и пифагорейской музыки сфер. Поэт, сызмалу, как и Достоевский, понявший великую святость и великое искушение красоты:

Тут — *ангел* медный, гость небес;  
Там — *аггел* мрака, медный бес...  
.....  
Приемлю от двоих печать<sup>10</sup>.

И, пробегая мысленно наш тяжкий, но уж никак не бессодержательный, скорее трагический жизненный путь, мы, читатели Вячеслава Иванова, говорили с ним вместе:

Вот жизни длинная минея,  
Воспоминаний палимпсест,  
Ее единая идея —  
Аминь всех жизней — в розах крест<sup>11</sup>.

И последняя радостная встреча: и с близкими покойного поэта, и с первым томом собрания его сочинений, задуманным с наивозможнейшей полнотой — и оригинально, не по обычному (всегда нарушающему волю поэта) шаблону построенным.

Может быть, потому я и начал с этого очень личного, очень далекого от модного наукобесия (формалистического ли, структурального ли) вступления, так как никогда еще не было так трудно написать о новой книге, новой встрече, как сейчас, когда хочется до конца продумать — чем же был в русской культуре Вячеслав Иванов и чем же он является теперь, для сегодняшнего русского читателя. А так как и я, и мои друзья — тоже читатели, пусть «вчерашнего дня», то и хотелось немного проверить на себе, на непосредственном читательском опыте (а кого же знаешь

лучше, чем самого себя — и своих близких!), чтобы с бóльшей или меньшей приближенностью умозаключить и о «читателях сегодня». Помогает в этом и некая моя осведомленность (приобретенная благодаря редакторско-издательской работе) о вкусах и устремлениях современного — особенно молодого — читателя. Но все равно — трудно. Ибо слишком насыщена книга идеями, слишком сгущена ее образность — отзывами на мифотворчество всех времен и народов. Выход первого тома Собрания сочинений Вячеслава Иванова, под редакцией его сына Димитрия Вячеславовича, и О. Дешарт — явление огромного значения. Это воистину воскрешение для нас, в самую нужную минуту, одного из самых необходимых нашим дням больших поэтов-любомудров.

<...>

Настоящий творец прежде всего драгоценен как личность. Вы ясно чувствуете, что он сам много больше того, что он сотворил. Что он никак не укладывается целиком в рамки им сотворенного. Это только мастера художественных форм до конца исчерпывают себя в своих творениях, и за пределами их произведений — вы сразу это постигаете — ничего больше не осталось. Даже меньше того, что признает за марксистами советский анекдот, всё же оговаривающий, что марксисты знают решительно всё, да еще на пять копеек в виде прибавочной стоимости. Когда автор *больше* своих созданий, — он подлинный творец, а не только *мастер*. Когда вы чувствуете, что автор сам не удовлетворен результатами своего творчества, тогда вы знаете: это — большое, нужное, высокое дарование

Поэт должен и отъединяться, преодолевать в себе и в своем творчестве психологию затолканного случайностями повседневно, преодолевать психологию масс, толпы, всяческие коллективистические, механистические устремления к всемирному обезличенному муравейнику, — и никак не впадать в гипертрофированный романтический индивидуализм, эгоцентризм. «*Быть* значит *быть вместе*. Вот лейтмотив жизни и творчества В. И.», — пишет О. Дешарт<sup>12</sup>. И открывается это через ТЫ ЕСИ, а прежде всего — через любовь, когда ТЫ становится нераздельно-неслиянной частью Я. Но никогда и никаким образом этот индивидуализм, эгоизм, психология сверхчеловека не могут быть преодолены механически, коллективистически, революционным путем (не говоря уже о совершенно идиотском «учении» Чернышевского и Ленина о «разумном эгоизме», якобы совпадающем с «общественной пользой»).

«...Соборность — “соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной, творческой свободы, которая делает каждую изглаголанной, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово каждой находит отзвук во всех, и все — одно свободное согласие, ибо все — одно Слово”» («Легион и Соборность») <sup>13</sup>. А возможно это только через Христа и во Христе. «Вселенский анамнесис во Христе — вот цель гуманистической христианской культуры» («Docta Pietas», 1934<sup>14</sup>). Но можно ли ставить такую *соборность* в качестве, скажем, социально-политического лозунга, или тезиса в социально-этической программе? Нет, ибо: «”Соборность — задание, а не данность, и ее так же нельзя найти здесь или там, как Бога. Но, как Дух, она дышит, где хочет, и всё в добрых человеческих отношениях ежечасно животворит”» («Легион и Соборность») <sup>15</sup>. «Если человек, отдавая свою душу, сумеет всем сердцем своим и всем помышлением своим сказать Богу “Ты Еси и потому есмь аз”, если он сумеет сказать Христу в лице своего ближнего: “ты еси; вот я; я есмь, потому что ты еси”, тогда он вновь обретет свою душу, начнет жить воистину.

Так открывается путь к достижению высшей духовности, теофории, которая делает человеческое существо в высшей степени личным, и в высшей мере вселенским. Так предуготовляется торжество Царствия Божия...» <sup>16</sup>.

Память — начало воскресения. Поэтому она — и орудие времени, и орудие против времени, разъединяющего и умерщвляющего. Отсюда значение всенародной и прачеловеческой памяти — высокой поэзии.

<...> Высокая поэзия — прапамять народа — не пустая эстетская побрякушка, а начало воскресения. Здесь перекликаются заветные мысли поэта-спиритуалиста Вячеслава Иванова и замысел религиозного материалиста Николая Федорова. И, конечно, не только Н. Ф. Федоров считал, что Бог, во всепоглощающей мудрости своей нас воскресающий в день Страшного суда, ждет от нас, Его творений, ответного движения: стремления *самим*, своими усилиями, сыновними и братскими, воскресить, призвать к жизни всех наших усопших предков. Этого дерзновения ждет от людей и Бог по мысли Вячеслава Иванова <...>

Ранние символисты и — с ними — Вячеслав Иванов должны были объявить войну не на живот, а на смерть, прежде всего,



окончательно выхолостившемся, обесцвеченному к концу XIX века русскому стихотворному языку. Если язык русской прозы (Достоевский, Лесков, Чехов) был гибким и многообразным, не монологическим, а разноречивым — в своих органических «неслиянно-нераздельных» творческих единствах (у каждого из подлинных прозаиков их язык — единство при разноречии их персонажей), то язык поэтический стал выцветшим, интеллигентски обезличенным, предельно обедненным. Да еще механически вколачивался в исчерпавшие себя (а часто и не вполне сродные русскому языковому и эстетическому сознанию) единые для всех европейских народов мелодико-ритмические формы. Вячеслав Иванов в первых своих книгах стремится образовать особый, отличный от просторечья и от книжно-литературного, лирический язык (потом по этому пути — по-разному — пойдут Николай Клюев и Хлебников, отчасти Осип Мандельштам), обращается к непривычным, редким в русской поэзии формам музыкально-ритмического построения стиха:

Виноградник свой обходит, свой первоизбранный, Дионис;  
 Две жены в одеждах темных — два виноградаря — вслед за ним.  
 Говорит двум скорбным стражам — двум виноградарям — Дионис:  
 «Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградари, острый нож;  
 Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный виноград!  
 Кровь сберите гроздий рдяных, слезы кистей моих золотых —  
 Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило нег;  
 Напоите влагой рьяной алых восторгов мой ярый  
 Градь!»<sup>17</sup>

Или:

О, Фантазия! ты скупцу подобна,  
 Что, лепты скопив, их растит лихвою,  
 Малый меди вес обращая мудро  
 В золота груды<sup>18</sup>.

Затем, уже применяя чаще всего обычные в русской поэзии музыкально-ритмические формы, Вячеслав Иванов идет не по пути создания *особого* лирического языка, а путем предельной языковой прозаизации поэзии. Он вводит в нее и сознательную стилизацию:

«Из-под бела камня из-под алатыря  
 Выдыбал млад змееныш яритися;

Из-под люта камня горячего  
Выползала змея свадьбу правити,  
Завивалася в кольца при месяце,  
Зазывала на игры любовные»<sup>19</sup>.

Вводит он и переложение чужих стихов, применявшееся ранее лишь в «низкой» литературе пародистов, причем переложение несет у Вячеслава Иванова большую лирическую и смысловую нагрузку:

Как зыбью синей Океана,  
Лишь звезды вспыхнут в небесах.  
Корабль безлюдный из тумана  
На всех несетя парусах...<sup>20</sup>

Иной раз в том же, например, «Младенчестве» вносится и сочетание куплетно-сатирических словоформ юмористических журнальчиков шестидесятников с церковнославянщиной «критически мыслящих» разночинцев-семинаристов: скажем, в характеристике отца поэта:

Но — века сын! Шестидесятых  
Годов земли российской тип;  
«Интеллигент», сиречь «проклятых  
Вопросов» жертва — иль Эдип...<sup>21</sup>

Язык подлинной прозы — всегда единый в своем разноречии, в своей разномастности: авторская речь, сказ; разнохарактерный язык персонажей (ведь каждый персонаж несет на себе печать своей социальной и семейной среды, своего воспитания, своего возраста, своего племени, своей местности, своей профессии, своего образования, наконец, своего характера и даже настроения изображаемого автором момента); язык авторских ремарок — пояснительная, соединительная ткань повествования. Единый в многообразии, в разноречии — и сколько в хорошей прозе *единств!* Что ни автор — то новое единство в многообразии. Мы никогда не смешаем гениальную лихорадочно-подергивающуюся, захлебывающуюся скоробормотку Достоевского с полемически-руссоистской мнимой «простотой» речи Льва Толстого, ярчайшую, характернейшую цветастость разнообразного лесковского сказа с лиричностью и часто притушенностью красок чеховского языка.

И вот Вячеслав Иванов, после первоначального устремления к созданию особого лирического языка, насыщенного праславя-

низмами и прарусизмами, стремится теперь к сближению языка поэзии с языком прозы, к насыщению поэтического языка многообразными красками многоплеменного русского просторечья и староречья, социально-групповым и профессиональным разноречием, чтобы каждый персонаж характеризовался присущей ему лексикой. Это ведь блестяще делал еще Пушкин (вспомним хотя бы: «Сват Иван, как пить мы станем»), но после него русская поэзия пошла чаще всего по выглаженной дорожке «общелитературного» языка. Язык В. Иванова — сочетание медноторжественной поступи — не лишенной и просторечья — Державина с разноречием Пушкина. Одический — и прозаически богатый. Перечтите хотя бы «Младенчество» <...> Тут и отзвук как бы записи в церковно-приходских книгах («ей сельский иерей был дедом»), и «канцелярит» сенатского чиновника из семинаристов (словечки «ведом», «по женской линии», сама *поступь* этих стихов).

Уже в языке Вячеслава Иванова — и путь к единодержавию (язык произведений должен быть внутренне-единым в его многообразии), — и путь к множественности и индивидуализации языков персонажей и ситуаций. И в образах, и в идеоформах — тоже. Посмотрите, как в эллинское звучание приведенных выше дионисийских стихов ворвался кельтско-норманский Грааль (Граль)! Казалось бы, нарушена гармония образов-звучаний? Нет, и до конца своих дней Вячеслав Иванов останется верным русской всеобъемлемости, всемирной отзывчивости, о которых так горячо говорил в своей пушкинской речи Достоевский.

Ну, а державинская меднообутая поступь все больше и больше звучит в стихах Вячеслава Иванова, чтобы в «Зимних сонетах» и венке сонетов «Два Града» стать редчайшей в российской поэзии XX века симфонией для духовых инструментов:

Век прористал свой стадий до границы,  
И вспять рекой, вскипающей со дна,  
К своим верховьям хлынут времена,  
О чем кричат пророческие птицы?  
(«Два Града», II)<sup>22</sup>  
Преполовилась темная зима.  
Солнцеворот, что женщины раденьем  
На высотах встречали, долгим бденьем  
Я праздную. Бежит очей дрема.  
(«Зимние сонеты», IV)<sup>23</sup>

Какая инструментовка! Корнет-а-пистоны «ра» и «ро», валторны чуть приглушенных «р» в таких словах, как «верховья», «встречали», «дрема», кое-где воркованье кларнетов и хрипотца фагота...

<...>

А что есть свидетельства, что и сейчас молодая поросль русской интеллигенции тянется к Вячеславу Иванову, что и сейчас его творчество питает живую, ищущую мысль, — этому доказательством служат не только редко просачивающиеся в советскую печать, но все же проникающие в нее статьи о поэте. Нет, пожалуй, лучшим свидетельством является такая, к примеру, выписка из приговора Ташкентского городского суда, вынесенного 17 июля 1970 года священнику о. Павлу Адельгейму<sup>24</sup>: «Адельгейм, будучи священником Каганской церкви, хранил и распространял как в письменной, так и в устной форме рукописные тексты религиозно-философской литературы, машинописные тексты со статьями зарубежных религиозных деятелей, реакционного, идеологически вредного и клеветнического содержания. А также сам писал письма и стихи такого же содержания. При обыске на квартире Адельгейма было изъято:... 8. Док. № 33 "Человек" (Вяч. Иванов)...»<sup>25</sup>.

И это — лишь одно из далеко не малого количества «документальных» свидетельств. Что ж из того, что Вячеслава Иванова почти невозможно получить в библиотеках, что его с великим трудом купишь на черном рынке. Может статься, прав Максимилиан Волошин, говоривший:

Мои ж уста давно замкнуты. Пусть!  
Почетней быть твердым наизусть  
И списываться тайно и украдкой,  
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Но — толцые, и отверзится вам, — теперь, когда выходит собрание творений поэта-любомудра, будет все же легче достать его и там *тем*, кто этого очень, очень горячо хочет...

1971

